

Когда-то (очень давно!) мой старший друг Семен Израилевич Липкин признался, что устроил для себя такую игру: разместил всех заметных русских поэтов по десяти разрядам — понятно, по мере убывания значения и достоинств. Добавив, что рассказ об этом Слуцкому, и тот, весьма небезразличный к иерархии в литературе (настолько, что вроде бы в шутку, но с немалой долей серьезности раздавал воинские звания: помню, и я у него угодил в старшие лейтенанты), поинтересовался: «А я у вас в каком разряде?»

«Ну что вы, Боря, — ответил Липкин, заставив поблагодарить самолюбиво Слуцкого, — таких, как мы с вами, я просто не принимал во внимание...»

Шутка? Притом лукавая? Наверное. Но, как бывает, в игре нечаянно и, значит, тем истиннее проступила самая суть.

Дело не в фоне, когда один стихотворец пишет другому: ты — умнейший человек России и поэт не ниже Баратынского, а тот публикует это в редактируемом им журнале. Зависеть от холуйства и самозванства униженно, и, полагаю, ненавистная слержанность, с которой Липкин оценивает свои (и чужие) стихи, говорит о высокой способности или, по крайности, о стремлении различать вечное и преходящее.

Не то чтоб ему было безразлично, скажем, признание Ахматовой, написавшей на дареной своей книге: она, дескать, всегда слышит стихи Липкина, а однажды плакала. Или — Солженицына. Или — Бродского, сказавшего в интервью, что ему «в некотором роде повезло» составить «тамиздатское» липкинское избранное. И заодно наиточнейше отметившего: Липкин пишет «не на злобу дня, но — на ужас дня».

Но нечто неуклонно толкает его к самооценочной строгости, продиктованной... Чем? Да многим. Начиная глубокой, с детства, религиозностью (чем Липкин так отличен от неофитов в религии, агрессивных от неофитства), кончая биографическими испытаниями. Где и долгая жизнь непубликуемого поэта (слава Богу, он нашел не только профессию, но и счастье в переложении великих стихов, так что никак бы не мог воскликнуть, подобно Тарковскому: «Ах, восточные переводы, как болит от вас голова!»), и тревоги еврейства, и война, основательно познанная: тонул на Балтике, был в Сталинграде, выходил из окружения с калмыцкой кавалерией. (О последнем и многом ином — поэма «Техник-интендант», может быть, вершинное создание Липкина, над которым, кстати, и пролила слезу Анна Андреевна.)

Наконец — хотя возможность конечности в перечне этих причин? — огромная культура, включающая, так сказать, эстетический экumenизм (помянутая погруженность в литературу и философию Востока), то, что способно и даже должно усмирять амбиции. В том числе весьма обоснованные.

«Ужас дня» — чтобы быть каламбуром, это слишком серьезно.

Семен Израилевич рассказывал (потом это стало фрагментом повести «Декада», но я передаю, как слышал, с прямым называнием всех участников эпизода), что во время декады искусства Таджикистана, молодым и уже известным мастером перевода, побывав в Кремле на правительственном банкете,

И, сидя рядышком с живым классиком Садриддином Айни, видел и слышал Сталина, поднявшегося произнести тост: «Как всем известно, Фирдоуси был великим таджикским поэтом...»

А надо знать, что Айни положил годы и годы, чтобы доказать именно это, в то время как партийные востоковеды спихивали сомнительного гения феодальной эпохи за иранский кордон. И вот: «Бирава, бирава! (то бишь: «Браво, браво!») — выкрикивает, вскочив и опасно прервав вождя, обзвучивший от счастья старик. — Востоковедения умерла! Да здравствует наша товарищ Сталин!»

Понял ли что-то вождя, но вдруг идет с бокалом к Айни, и Липкин видит вплотную низкий лоб и щербинки на подбородке. «Как ваша фамилия?» — «Айни ми ест! Айни ми ест!» — «Я знаю, что вы Айни. Весь Восток знает, что вы Айни. Но ведь это ваш псевдоним. Как ваша настоящая фамилия?» И услышал ответ: «Джугашвили. Будем знакомы».

Злая сила, по-гётевски, по-мefистифельски, то есть как-никак величаво, вдруг сотворившая добро? Но прежде всего — балаган! Водевиль провинциального сорта на главных подмостках страны. Старый писатель, которому главреж назначил

клоунскую роль, но и сам «художественный руководитель» — как верховный паяц империи...

Эту историю я вспоминаю часто, и она всякий раз поворачивается особой стороной. Сейчас размышляю о том, какой силой нормально-сти надобно обладать, чтобы

«ужас дня», того самого, что, по Пастернаку, длится «дольше века», был воспринят. Осознан. И — преодолен.

В данном случае — пониманием, что эпизод, в котором воплощенное Зло ненароком дохнуло рядом с тобой и ненароком свершило (действительно!) час-

тное благо, — даже такой эпизод выглядит саркастической усмешкой Создателя или истории. С Его и ее высоты, до которой подняться не дано никому, но о существовании которой надо тем не менее знать.

В одном из сильнейших липкинских стихотворений «Золотая» само чудо личного воскресения неотрывно от тех, кто не воскрес, кто стал лагерным пеплом. (И не их ли смертью оплачено?) В другом — сам путь к истинному обретению Бога идет «тропкою концентриционной... трубой канализационной... по всем печам, по всем мертвецким», — только тогда Бог открывается, «пылая пламенем газовой в неопалимой купине». Понимаете ли? Сама купина, евангельский, отнюдь не трагический символ, сопоставлена, даже соединена с пламенем газовых печей. Коли так, то и газовой, что ли, неистощимости?

Зацитирована фраза: после Освенцима нельзя писать стихи. Липкин пишет — как раз такие, какие можно, нужно писать. В этом победа преодоления, явленная во многом в поэтике.

«Надя! Надя! Он не только глух, он глуп!» — отчаянно вскричал Мандельштам, когда его молодой приятель Семен Липкин простодушно спросил, почему у того: «...Не Елена, другая, — как долго она вышивала?», в то время как у Гомера Пенелопа тклет, тайком распуская сотканное. (И Ахматова после скажет Липкину: у вас был резон. Оси́п не хотел исправить из упрямства.) Тут занят сам по себе крохотный этот конфликт.

Нежно любя Мандельштама, чья тень мелькает в одном из шедевров Липкина, в «Молдавском языке», написав о нем замечательный очерк (среди прочих своих замечательных мемуаров), Липкин предельно... Ну, скажем: отчетлив в своей поэзии, чуждающейся всякого импрессионизма, и за отчетливостью — нескончаемое духовное усилие, синоним преодоления. Не о Липкине, но словно о нем сказал Пастернак: «Художники-отщепенцы... любя договориваться до конца». Понимай: даже долгое недопущение Липкина к «гутенбергову прессу», а когда он вместе с Инной Лиснянской выйдет из Союза писателей, восстав против номенклатурной дикости, и новое отлучение — даже это не деформировало душу и стих, но доформировало то и другое.

Учитывая, какой «ужас дня» за этим стоит, и здесь не может быть претензии всего лишь на каламбурную игру словами.

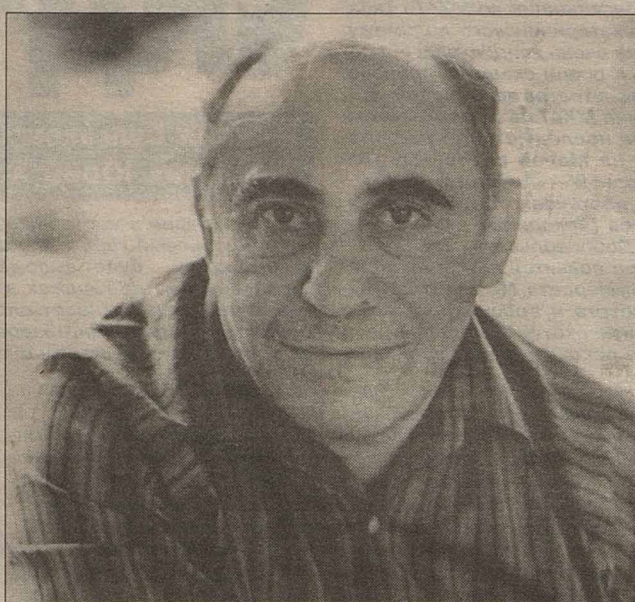
...А что до иерархии и разрядов, то в самом деле любопытно бы было заглянуть за черту. Узнать, например, удержится ли в перворазрядниках Бродский; как расположатся Глазков, Слуцкий, Самойлов, Тарковский, Липкин... Но, к сожалению или к счастью, современникам не дано права — кроме как в виде той же игры — определить степень подобного старшинства. Нам предоставлена лишь ответственная возможность понять, почуять, что истинно.

С остальным — подождем, Семен Израилевич?

● Станислав РАССАДИН

* Герои этого стихотворения — Арсений Тарковский, Аркадий Штейнберг и Мария Петровых

ЧЕЛОВЕК ПРЕОДОЛЕВАЮЩИЙ



Семен ЛИПКИН

Я сижу на ступеньках
Деревянного дома,
Между мною и смертью —
Пустячок, идиома.

Пустячок, идиома —
То ли тень водоема,
То ли давняя дрема,
То ли память погрома.

В этом странном понятии
Сочетаются травы,
И летающей братьи
Золотые октавы,

Белый камень безликий
Трансформаторной будки
Там, где кровь земляники
Потемнела за сутки,

И беды с тишиною
Шепоток за стеною,
Между смертью и мною,
Между смертью и мною.

На Тянь-Шане

Бьется бабочка в горле кумгана,
Спит на жердочке беркут сейод,
И глядит на них Зигмунд Сметана,
Элегантный варшавский портной.

Издаётся занес его случай,
А другие исчезли в золе,
Там, за проволокою колючей,
И теперь он один на земле.

В мастерскую, кружась над саманом,
Залетает листок невзначай.
Над горами — туман. За туманом —
Вы подумайте только! — Китай!

В этот час появляются люди:
Коновод на кобылке Сафо,
И семейство верхом на верблюде,
И в вельветовой куртке райфо.

День в пыли исчезает, как всадник,
Овцы тихо вбегают в закут.
Зябко прячет листья виноградики,
И опресноки в юрте пекут.

Точно так их пекли в Галилее,
Под навесом, вечерней порой...
И стоит с сантиметром на шее
Элегантный варшавский портной.

Не соринка в глазу, не слезинка —
Это жжет его мертвым огнем,
Это ставшая прахом Треблинка
Жгучий пепел оставила в нем.

Военная песня

Что ты заводишь песню военную.
Державин

Серое небо. Травы сырые.
В яме икона панны Марии.
Враг отступает. Мы победили.
Думать не надо. Плакать нельзя.
Мертвый агнемок. Мертвые хаты.
Между развалин — наши солдаты.
В лагере пусто. Печи остыли.
Думать не надо. Плакать нельзя.

Страшно, ей-Богу, там, за фольварком.
Хлопцы, разлейте старку по чаркам,
Скоро в дорогу. Скоро награда.
А до парада плакать нельзя.
Черные печи да мыловарни.
Здесь потрудились прусские парни.
Где эти парни? Думать не надо.
Мы победили. Плакать нельзя.

В полураскрытом чреве вагона —
Детское тельце. Круг патефона.
Видимо, ветер вертит пластинку.
Слушать нет силы. Плакать нельзя.
В лагере смерти печи остыли.
Кружится песня. Мы победили.
Мама, закутай дочку в простынку.
Пой, балалайка, плакать нельзя.

Молдавский язык

Степь шумит, приближаясь к ночлегу,
Загоняя закат за курган,
И тяжелую тащит телегу
Ломовая латынь молдаван.

Слышишь медных глаголов грожанье?
Это римские речи звучат.
Сотворили-то их каторжане,
А не гордый и грозный сенат.

Отгремел, отблизил Капитолий,
И не стало победных святынь,
Только ветер днестровских раздолий
Ломовую гоняет латынь.

Точно так же блатная музыка,
Со словесной порван чистотой,
Сочиняется вольно и дижд
В стане варваров за Воркутой.

За последнюю ложку баланды,
За охрок от чьих-то щедрот
Представителям каторжной банды
Политический что-то поет.

Он поет, этот новый Овидий,
Гениальный болтун-чародей,
О бессмысленном апартеиде
В резервации воров и блядей.

Что мы знаем, поющие в бездне,
О грядущем своем далеке?
Будут изданы речи и песни
На когда-то блатном языке.

Ах, Господь, я прочел твою книгу,
И не даром теперь мне дано
На рассвете доест мамалыгу
И допить молодое вино.

1962

Квадрига*

Среди шумов, среди шумих,
Разбойных, даровитых, пресных,
Нас было четверо иных,
Нас было четверо безвестных.
Огни, сластель гивных строк,
На точной рифме был помешан.
Он как ребенок был жесток,
Он как ребенок был безгрешен.
Он, искалеченный войной,
Вернулся в дом сырой, трухлявый,
Рассстался с прелестью-женой,
В другой обрел он разум зрелый,
И только вместе с сединой
Его коснулся ангел славы.

Второй, художник и поэт,
В стихах и красках был южанин,
Но понимал он тень и свет,
Как самородок-палешанин.
Был долго в лагерях второй.
Вернулся — весел, шумел, ярок.
Жизнь для него была игрой
И рукописью без помарок.
Был не по правилам красив,
Чужой сочувствовал угаче
И умер, славы не вкусив,
Отдав искусству жизнь без сгачи,
И только гружеский архив
Хранит накал его горячий.

А третья нам была сестрой.
Дочь пошехонского священства,
Объединяя страсть и строй,
Она искала совершенства.
Муж-юноша погиб в тюрьме.
Дня свое сама растила.
За робостью в ее уме
Упрямая таилась сила.
Как бугро на похоронах,
Шла по дороге безымянной,
И в то же время был размах,
Воспетый Осилом и Анной.
На кладбище Немецком — прах,
Душа — в юдоли боготанной.

А мне, четвертому, — ломать
Девятый суждено десяток,
Осталось близких вспоминать,
Благословляя дней остаток.
Мой путь, извилист и тяжел,
То сонно двигался, то грозно.
Я счастлив, что тебя нашёл,
Мне горько, что нашел я поздно.
Случается, что снится мне
Двор детских лет, грехопаденье,
Иль окруженье на войне,
Иль матери нравоученье,
А ты явилась — так во сне
Является стихотворенье.

1995